



Альберт Лиханов
Деревянные кони

1971

Лиханов А.

Деревянные кони / А. Лиханов — 1971

Окончилась война, но отец мальчика, героя повести, все никак не вернется домой. Но это поправимо. А вот у его друга Васьки отец не вернется никогда. Горе целой деревни постигает мальчик. Об ошибках (опечатках) в книге можно сообщить по адресу <http://www.fictionbook.org/forum/viewtopic.php?t=3129> . Ошибки будут исправлены и обновленный вариант появится в библиотеках.

Деревянные кони

Война кончилась, а отец не возвращался. И письма от него приходили редко. Бабушка, мама и я по многу раз на день заглядывали в почтовый ящик, но там было пусто.

Иногда я ходил встречать поезда. На перрон бесплатно не пускали, надо было покупать билеты – странно, за встречи и прощания брали деньги, – и я пробирался вдоль путей, мимо цистерн и товарных вагонов, устраивался где-нибудь в уголке вокзального перрона, чтобы не попадаться на глаза злым теткам в красных фуражках. Поезда приходили и уходили, у ворот, выходявших на вокзальную площадь, образовывались пробки: военные, возвращаясь домой, очень торопились, и я их понимал, улыбался, вглядываясь в их лица, искал отца, надеясь на удачу – мало ли чего не случается, а вдруг он обгонит свое письмо, в котором напишет о возвращении.

Но отца не было. Не так-то просто кончаются войны.

* * *

Однажды я шел с вокзала, стегая прутиком по лопухам, и думал об отце. Возле дома, во дворе, поросшем густой травой, было тихо, только скрипели тротуарные доски под моими ногами. Вначале я не обратил на тишину внимания: я шел задумавшись, опустив голову. Но потом тишина испугала меня. Тихо не должно быть, сейчас должно быть шумно, должен слышаться веселый лай. Я испугался за Тобика: если он порвал цепочку, его могут поймать собачники.

Я поднял голову и остановился. Тобик был жив и здоров, и цепочка его поблескивала, но он не обращал на меня никакого внимания, хотя не слышать моих шагов не мог. Это даже по ушам было видно, как он их ко мне, назад, оттягивал.

Перед Тобиком, прислонясь к косяку, стоял незнакомый парень. Одной ногой он упирался в собачью будку, а мой верный пес предательски шевелил кончиком хвоста, одобряя такую наглость, давая этому парню вести себя тут по-хозяйски.

Странные чувства смешались во мне: и обида на Тобика, и ревность к парню, на чью сторону Тобик так быстро перекинулся, и удивление – не удивляться новому парню было невозможно.

Прежде всего потому, что он был в сапогах. В сапогах с отогнутыми голенищами. Сапоги в городе, да еще в такую жару, носили только солдаты, а вот чтобы кто-нибудь так загибал голенища, я вообще не видел. Из сапог двумя широкими фонарями топорщились черные в полосочку штаны. Дальше шла рубаша – светло-зеленая, с короткими рукавами, а у ворота трепыхался красный пионерский галстук.

Как видите, кроме сапог, ничего особенного. И только из-за них, пусть даже с отогнутыми голенищами, я бы останавливаться как вкопанный не стал.

Дело было не в этом.

Дело было в том, что широкоплечий пионер, поставив нагло один сапог на собачью будку... курил...

Вообще-то в том, что пионер может курить, тоже нет ничего удивительного. Даже сейчас. А тогда тем более. Я много раз видел, как пионеры, забравшись за поленницу в нашем дворе, курили папиросы, предварительно сняв галстуки и сунув их в карман. Старшие ребята курили и в школьной уборной, как-то по-хитрому пуская дым в собственные рукава, на случай, если войдет учитель. И ничего особенного в этом не было, потому что те пионеры курили таясь.

А этот курил открыто! Вот в чем дело!

Галстук развевался у него на груди, ветер полоскал его светлые волосы, и голубой дым рвался из ноздрей.

Стукнула дверь, и на крыльцо вышла моя мама. Она приветливо посмотрела на широкоплечего пионера и улыбнулась ему. Вот так штука! Я стоял ошарашенный.

Увидев маму, парень тоже улыбнулся и даже не зажал папироску в кулаке, а, наоборот, еще глубже затянулся и пустил изо рта дымный шлейф. Дверь снова стукнула, на улицу вышла бабушка, а за ней тетя Сима, которой бабушка сдавала комнату, и еще какая-то женщина, русая и круглолицая, с двумя корзинами в руке.

– Василей, – сказала строго незнакомая женщина, обращаясь к курящему пионеру, – дак я пошла. Смотри тут, не больно дымокурь-то. Тетю Симу слушай. И голос-то приглушай!

И тут я услышал голос странного парня.

– Аха! – сказал он хриплым мужицким басом.

Только это «аха» и произнес. Всего-навсего одно слово.

Во мне будто что-то сломалось. Только что я глядел на курящего пионера, приоткрыв рот, и удивлялся. Теперь я уже не удивлялся. Я его уважал. Ведь раз он курил при взрослых, не снимая галстука, значит, он имел такое право!

* * *

Курящий пионер остался во дворе, а я вслед за мамой вошел в дом.

Она кивнула на стол, чтоб я садился, подняла с полу большую кастрюлю и сняла крышку. Я охнул. Никогда я еще не видел сразу столько молока. Кастрюля была полнехонька. До краев.

– Откуда это? – удивился я.

Но мама только буркнула:

– Ешь, ешь!

Я навалился на молоко, уписывал его с хлебом, аж за ушами запищало.

Вошла бабушка, вздохнула у меня за спиной – я ее по одному вздоху в темноте могу за много шагов узнать.

– Ну вот! – сказала бабушка и снова вздохнула.

Мама укоризненно посмотрела на нее, будто осуждала за что-то. Опять, наверное, за комнату. Они часто про это говорили. Больше, правда, шепотом, потому что стенка была дощатая, не капитальная, и все было слышно, что там делается, у квартирантки тети Симы. И что у нас делается, ей тоже слышно было.

Мама все бабушку ругала, зачем мы ту комнату квартирантам сдаем. История эта довольно длинная, но я ее уже наизусть выучил. До войны никакой той комнаты не было. Была одна большая, и в ней мы все вчетвером жили – папа, мама, бабушка и я. А когда война началась и жить стало трудно, бабушка большую комнату надвое разгородила. Теперь война уже кончилась, но бабушка квартирантов все пускала, может, потому, что денег все еще не хватало, а может, по привычке.

Мама шептала бабушке, что вот скоро вернется из армии отец, – что же, нам тут так и тесниться? Бабушка кивала головой, соглашалась и говорила, будто тетю Симу она предупредила и, как только приедет отец, она сразу съедет и стенку отец разберет.

– Прямо в первый же день! – клялась бабушка, и мама уступала, потому что действительно жилось еще трудно.

– Ну вот! – повторила, опять вздыхая, бабушка и, словно оправдываясь, произнесла: – Хоть теперь с молоком будем.

– Мама! – воскликнула мама шепотом – это она к бабушке, сами понимаете, обращалась – и возмущенно на нее поглядела.

– А что «мама»! – прошептала ей в ответ бабушка. – Ведь не на небе живем!

Бабушка помолчала, словно в нерешительности, и добавила:

– Ну и потом помочь надо: видишь, какие обстоятельства – некуда пареньку деться!

– Значит, будет у нас жить? – спросил я. Курящий пионер в сапогах с отогнутыми голенищами не выходил у меня из головы.

Они не ответили. Мама внимательно разглядывала меня, будто хотела что-то сказать, да забыла.

– Коля, – сказала она наконец, – вот этот мальчик... Вася... – Мама мялась, не решалась что-то такое сказать. – Так ты это... как бы тебе объяснить... Так ты с ним не очень-то... понимаешь... дружи.

– А что? – спросил я, округляя глаза. – Почему?

– Ну, он... понимаешь, – стала опять заикаться мама, – он старше тебя и потом... ну... это... курит.

«Ага! – улыбнулся я, уминая хлеб с молоком. – Проговорилась! А сама улыбалась, на него глядя, как он дым из носу пускал, будто древний ихтиозавр».

– Ну, а ты скажи, чтоб не курил, – ответил я. – Пионер ведь!

– Неудобно... – вздохнула мама. – Он уже совсем взрослый. Ему курить его собственная мать разрешает, а чего же мы?

– Он ведь учиться-то не в школу приехал, – сказала из-за спины бабушка, – а на счетовода. Деньги будет получать, самостоятельный человек.

– Он в колхозе работает, – подхватила мама. – Пашет, сеет, хлеб убирает. Молодец какой, видишь?

Ну и взрослые! Их, как корабль в бурю, то в одну сторону качнет, то в другую. То не водись с ним, то – вот он какой хороший.

– Так чего же мне с ним не дружить? – спросил я.

Мама и бабушка молчали.

– Но он же курит! – сказала наконец бабушка. – Еще научит тебя!

Я поднял брови домиком, выражая удивление, и воскликнул возмущенно:

– Ну! За кого вы меня принимаете? – и встал из-за стола. – Это мы еще посмотрим, кто кого чему научит! – добавил я в запальчивости и шагнул к двери.

* * *

Пионер в сапожищах смолил, наверное, уже десятую папиросу. Тобик неотрывно следил за его движениями. «Уж не гипнотизер ли он вдобавок?» – подумал я, начиная робеть. Это там, дома, перед мамой и бабушкой, я мог хорохориться. Тут же все было по-другому. Юный колхозник строго поглядывал на меня белесыми глазами и словно замораживал. Я понимал, что бояться его мне нечего, что ничего плохого он мне не сделает, раз будет жить у нас, и все-таки не мог побороть себя: мне почему-то казалось, что это я, а не он пришел на чужой двор.

Немного потоптавшись под пытливым взглядом тети Симиного племянника, я решил удалиться. Прогуляться, например, по улице. Но курящий пионер неожиданно изменил свою великолепную позу. Он снял сапог с Тобиковой будки, шагнул ко мне, так что от него табачным духом подуло, и сказал басом:

– Здорово! – И представился, протягивая руку: – Василий Иванович!

– Чапаев? – спросил я с тонкой иронией, стараясь восстановить свои права на этот двор.

Но Василий Иванович иронию отверг, белозубо улыгнувшись и тряхнув светлыми волосами.

– Не-а! – ответил он. – Васильев.

Василий Иванович добродушно улыбался, решительно протягивал руку, желал мне всяческого добра, и сердце у меня зашло от волнения. Все-таки колхозник, не шутка – и пахать и сеять умеет. Я нерешительно протянул свою ладонь, сложенную лодочкой, и Василий Иванович пожал ее всю, все пять пальцев.

Рука у него оказалась большой и шершавой, будто из толстой сосновой коры. Даже, кажется, он мою руку слегка поцарапал – она почему-то тихонечко ныла.

– А я... этот... – сказал я, мучительно соображая, что бы такое придумать, что бы такое сказать убедительное и веское. Встать вровень с сапогами, у которых загнуты голенища, с папироской во рту и всей трудовой биографией тети Симиного племянника было не так-то легко.

Он засмеялся:

– Чо, как зовут, позабыл?

– Колька, – сказал я, краснея, и выпалил вдруг первое, что на ум пришло: – А ты боксовать умеешь?

– Не-а! – сказал племянник, удивляясь.

– А я боксом занимаюсь!

– Но! – удивился Василий Иванович.

Он сразу клюнул на этот дурацкий крючок. Пахать-то он, конечно, пахал, и сеял, и курил тоже, а вот боксом уж определенно не занимался. Какой там в деревне бокс, его и в городе-то не найдешь. Боксеры с войны, наверное, еще не пришли.

– Ишь ты! – удивлялся племянник тети Симы, покачивая головой. – По мордам бьют! – И, бросив папироску, будто решившись на что-то, спросил: – Научишь?

Я понял, что, кажется, перегнул, что про бокс – это уже слишком, а Василий Иванович развязал заскорузлыми пальцами галстук, сунул его в карман, прижал к груди кулаки и добавил:

– Нам пригодится!

– Н-не, нет! – ответил я, слегка бледнея. – Не теперь! Завтра! Мне сейчас некогда.

– Лады! Завтра так завтра. – Он вынул из кармана большой кусок сахара, хрустнул зубами и кинул кусочек Тобику.

Тобик подхватил сахарок на лету, захрупал, чавкая, пуская тягучую слюнку, и преданно поглядел на племянника тети Симы.

* * *

Только к вечеру дошло до меня, что я наделал!

Сначала слова эти мои про бокс показались мне просто словами, мало ли кто и что сказал. Теперь же, к вечеру, когда мысли после дневной суеты стали раскладываться по полочкам, я понял, что нет, что все это не так просто, как кажется, что мы с этим курящим Василием Ивановичем теперь самые близкие соседи и никуда мне от него не деться.

«Вот дурак! – ругал я себя. – Только познакомился с человеком и сразу наврал ему с три короба. Ничего он не скажет, конечно, когда узнает, что я его обманул, дразниться не станет, не маленький, а все-таки...»

Улегшись на свой твердый диван, я долго скрипел пружинами, а утром проснулся со счастливой мыслью и, еле дождавшись срока, пошел в библиотеку. Должна же там быть книжка по боксу!

Библиотекарша подозрительно поглядела на меня, долго копалась в дальнем шкафу, потом вытащила тоненькую книжицу, всю серую от пыли: никто почему-то боксом не интересовался.

Я шел обратно, то и дело спотыкаясь, потому что читал на ходу.

Дома я разделся до трусов, встал перед зеркалом и начал повторять упражнения, которые были нарисованы на картинках: как кулаками нос прикрывать, как прыгать, когда наступаешь. Половицы подо мной тряслись, зеркало дрожало, норовя кокнуться, бабушка махала на меня полотенцем, пытаясь остановить.

– Ты чего! – шумела она. – Ишь распрыгался!

– Чш-ш! – шипел я на бабушку, боясь, что Васька через тонкую стенку поймет, чем я тут занимаюсь.

Но, в общем, я был доволен собой. Теперь-то мы уж с этим Васькой на равных. Надо только не спешить. Надо как следует подготовиться.

А сосед мой жил шумно.

У себя в деревне он, видно, не привык говорить нормальным человеческим голосом, да это ведь и понятно – как там, в полях и на пашнях, говорить спокойно, там кричать надо: «Эге-гей! Но-о! Пошла, ленивая! Растуды твой в кор-рень!»

Это выражение «растуды твой» Василий Иванович особенно как-то уважал и часто повторял за тонкой дощатой стенкой хриплым голосом. Мама и бабушка вжимали в плечи головы и молча переглядывались. Тетя Сима на Василия Ивановича за стенкой шикала, шептала ему, видно, чтобы он потише тут выражался, не на сеновале, но, даже приглушив голос, Васька хрипел громко и внятно.

Я посмеивался над мамой и бабушкой, смотрел, как коробит их от Васькиных выражений, хотя ничего такого он не говорил. Но они жутко переживали. Они считали, что новый квартирант меня непременно испортит. Этими уличными выражениями. И куреньем.

Но бабушкины и мамины переживания меня не трогали. Меня волновало совсем другое.

Я усердно махал кулаками перед зеркалом, чуть не влетал в него в азарте атаки и наконец в один прекрасный день, как говорится в художественной литературе, постучав в перегородку, предложил Василию Иванычу выйти во двор.

Сосед появился передо мной, не улыбаясь, засунув руки в карманы, и ждал довольно сумрачно, что я скажу.

– Ты боксу научить просил, – сказал я, предчувствуя легкую победу над этим широкоплечим увальнем. – Не передумал?

– Аха! – сразу повеселел Васька. – Айда! – И пошел вслед за мной в прохладу сиреневых кустов, которые росли за домом.

Стоял сентябрь, мы оба уже учились: я – в школе, Васька – на своих таинственных курсах счетоводов, а на улице было тепло, настоящее бабье лето, и по хмари в Васькиных глазах я понял, что ему совсем так же, как и мне, заниматься в такую погоду ужасно неохота.

Я снял рубаху, Васька разделся тоже, я стал боком, как требовала боксерская книжка, спрятал подбородок за плечо, выставил кулаки.

– Вот так! – велел я Ваське, подпрыгнул и тихонько стукнул противника в грудь. – Подбородок кулаком прикрывай, – объяснял я ему, подобрался еще раз и ударил снова.

Кулак словно стукнулся о каменную стенку, рука заныла, и в ту же минуту кусты сирени стали расти как-то боком, размахивая ветвями, хотя никакого ветра не было.

Охнув, я опустил на коленки.

– Ты чо! Ты чо! – слышался издали, будто из-за толстой стены, голос тети Симиного племянника, потом он исчез, и вдруг я вздрогнул – на лицо текло что-то холодное и приятное.

Я открыл глаза. Василий Иванович испуганно улыбался мне и лил из эмалированной кружки воду.

– Я не нарочно, я не хотел, – говорил он смущенно. – На-кось вот, – и приложил к моему носу холодный лист подорожника.

Я поглядел на землю. Прямо передо мной, в песке, выбив неглубокие ямки, чернели капли крови.

«За что?» – думал я, наливаясь слезами.

Ведь у меня и в голове не было, чтобы драться. И книжку о боксе я не для того доставал. Я собирался всего-навсего научить Ваську. Всего-навсего доказать, что и я не лыком шит, не один он в сапогах с загнутыми голенищами. А он... он...

Я старался разозлиться на Ваську – ни за что ведь ударил по носу, – но почему-то ничего у меня не выходило. Вся злость куда-то подевалась, даже, наоборот, я чувствовал, кажется, себя легче, свободней, будто с меня свалилась тяжесть.

– Я ведь не хотел, – повторял Васька, боясь, что я зареву, – ведь не нарочно.

«В самом деле, – подумал я. – Он бы мог меня одной левой. Сам виноват, трепло несчастное. Боксер называется!»

Я попробовал было подняться, но Васька велел мне лежать, чтоб скорее прошло. Я послушался, а он виновато говорил:

– Это фигня все – боксы разные. Руками только машут. Хошь, драться по-мужицки научу? – Я мужественно кивал головой. – Сперва знаешь куда бей? По уху!

Я лежал, кося глаза на зеленый подорожник, прикрывающий мой нос, – подорожник занимал полнеба и походил на зеленую землю, – слушал Васькино бормотание, и мне казалось, что мы с Васькой старые-старые приятели, с самого, может, первого класса знакомы или еще даже раньше.

Я вспомнил, что дома, на столе, лежит раскрытая книжка по боксу, вспомнил, как соображал, чем бы Ваську удивить, и засмеялся. Все это было теперь смешным и ненужным...

* * *

Вот так странно мы с Васькой подружились и теперь, как только сходились – я из школы, Васька со своих курсов, – сразу же перекликались через стенку.

– Вась! – кричал я, хотя вполне можно было говорить спокойно и он все равно бы услышал. – Чо делаешь?

– Пишу, – отвечал он, не укрощая свой голос, и я сквозь стенку слышал, как скрипит и царапает бумагу соседово перо.

Писание у него выходило плохо – его за это на курсах счетоводов ругали, но Васька убеждал меня, что это не главное.

– Главное, – говорил он, – считать! Счетоводу главное в арифметике не ошибиться. Сложить, вычесть, помножить, разделить.

Васька в арифметике никогда не ошибался. Он даже семилетки не кончил, а на курсы счетоводов только с семилеткой принимали. Но его взяли. Потому что Васька считает как сумасшедший. Прямо без передыху. Спросишь его, он губами чуть пошевелит и сразу отвечает.

– Двести сорок девять помножить на четыреста двадцать шесть! – кричал я.

И не проходило полминуты, Васька басил:

– Сто шесть тысяч семьдесят четыре.

Сперва я Ваську проверял, считал на бумаге столбиком, но потом надоело – он никогда не ошибался.

– Тысяча семьсот восемьдесят четыре умножить на девять тысяч шестьсот семьдесят пять! – орал я в неопишемом удовольствии.

– Семнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч двести, – будто машина, отвечал Васька, и, пока он молчал, я даже сквозь стенку явственно ощущал, как шевелит он толстыми губами.

Мама и бабушка, когда мы занимались устным счетом, одобрительно поглядывали на меня, видя, верно, в этом занятии хорошую сторону Васькиного на меня влияния, советовали Ваське, чтобы теперь он мне задал какую-нибудь задачку. Васька послушно спрашивал что-нибудь – сорок восемь, например, на восемьдесят шесть, – и у меня получалась белиберда, приходилось доставать бумагу и черкать быстро карандашом. Нет, что ни говори, такие таланты даются не каждому, такому не выучишься, это от рождения или от бога, как говорила бабушка.

К Васькиной чести надо сказать, что он своим удивительным талантом совсем не гордился и даже, напротив, жаловался мне, что в деревне к нему все приставали – главный бухгалтер приходил с какими-то большими листами и вечера напролет его мучил. А уж про ребят, если у кого не выходили задачи, и говорить нечего. Из-за этой его непонятной даже ему самому способности Ваську и отправил председатель в город на курсы, хотя стремление в жизни у него было совсем другое.

Васька мечтал стать конюхом.

Иногда мы с ним уходили погулять, шлялись по мокрым осенним тротуарам под шелест мелкого дождя, и Васька, не понижая голоса и не стесняясь прохожих, толковал мне, какая лошадь бывает каурая; это я у него требовал объяснить, как понимать надо «Сивка-бурка, вещая каурка». Говорил про лошадиные хитрости. Оказывается, и лошадь хитрить умеет: брюхо надуть, когда ей седло надевают, а потом его на полном скаку сбросить. Говорил, что поить коня после долгого бега нельзя, что, когда лошадь куют и забивают ей в копыта железные гвозди, чтоб подковы держались, ей не больно, и всякое такое.

Васька говорил кратко, одними восклицательными предложениями, но как-то очень азартно. И после нескольких таких прогулок мне ничего на свете не хотелось больше, чем покататься верхом на лошади.

– Скачешь! – громыхал он на всю улицу. – Скачешь! А она! Крупом – брык! И летишь через голову! А сама! Отойдет в сторону и травку хрупают! И глазом на тебя – зырк, зырк! Вроде подмаргивает.

Васькино круглое лицо в такие минуты сияло, белки глаз страшно блестели, и весь он был какой-то отчаянный.

– А ты пахал на лошади-то? – спрашивал я с интересом.

– Но! – кричал он с удовольствием.

– И запрягать умеешь?

Васька гулко хохотал, удивляясь моей безграмотности:

– Да я же у конюха помощником работал, дурелом ты этакий! Все делал, что надо. И корму задавал, и поил, и драил, и навоз убирал.

Однажды вечером мы шли с Васькой по полутемной улице, и вдруг по булыжнику навстречу нам зацокали копыта. Это ехали золотари. Пять или шесть лошадей тащили бочки, копыта выбивали о булыжник искры, черпаки длинными ручками волочились по мостовой, колеса дребезжали и грохали.

Я зажал нос – мы всегда так делали, когда встречали золотарей, – а Васька стоял не шевелясь.

Обоз проехал, понурые лошади скрылись в глубине квартала, а Васька все не шевелился.

– Айда! – сказал я, трогая его за рукав и все еще зажав нос: аромат стойко держался в тихом воздухе.

Но Васька будто не слышал меня. Он глядел в темноту, туда, где исчезла грохочущая колонна.

– Растуды твой! – сказал он вдруг печально. – Городская-то лошадка, а! Уж и забыла, поди-ка, какая травка! Как повалиться-то можно... Провоняла вся... Охо-хо-хо! – вздохнул он по-стариковски. – Да нежели так можно?

Я удивился Васькиным словам.

– Ну, да у вас-то в деревне, – спросил я удивленно, – разве не так?

– Не так, не так, – ответил Васька. – В том году околела у меня одна кобыла, Машкой звали, прямо в меже околела, а не так.

– Отчего околела? – спросил я.

– От натуги да от старости, – сказал он, – потаскай-ка плуг-то или борону.

– Ну, видишь, – сказал я. – Здесь легче.

– «Легче!» – усмехнулся он криво. – Легче, да ведь лошадь-то животина, как и ты. Я обиделся за такое сравнение, и мы замолчали.

Я вспомнил, что Васька рассказывал, как он убирал навоз.

– И ты ведь навоз отгребал, – сказал я растерянно.

– Сравнил! – незлобиво удивился Васька. – То навоз! От него хлебушко растет.

Так мы ни до чего и не договорились. Но больше по вечерам не гуляли. Может, Васька узнал, что золотари днем не ездят. А может, потому, что появились у него трудности в арифметике.

В уме Васька считал отлично, но ведь он учился на счетовода. Слово такое: счето-вод. Значит на счетах надо считать учиться, так у них на курсах было положено.

Как-то раз Васька явился с занятий, неся под мышкой большие канцелярские счеты. За стенкой теперь вечно громыхали костяшки.

– Двадцать два миллиона триста восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь рублей семнадцать копеек, – кричал я Ваське, – плюс семнадцать миллионов сто одна тысяча триста пятьдесят шесть рублей девяносто копеек! – Почему-то у них на курсах любили задачи, где надо считать деньги.

Васька стучал костяшками, бормотал себе что-то под нос, а потом растерянно отвечал:

– Счетов не хватает! Да и откуда такие деньги?

* * *

А отец все не ехал, и мама с бабушкой жутко переживали, словно война еще не кончилась.

Я пытался их успокоить, говорил, что ничего случиться не может, надо только набраться терпения: ведь войны не кончаются сразу – отстрелялись и пошли по домам, – и раз отец не едет, значит, он нужен там, в этой Германии.

– Но написать-то он должен, – говорила, волнуясь, мама, и тут мне нечего было сказать.

Я ждал от отца письма так же нетерпеливо, как мама и бабушка.

Часто по вечерам мы усаживались все втроем на диван, слушали тихую музыку, которую передавали по радио вместо тревожных сводок, и мечтали, как заживем, когда вернется отец.

– Костюм сразу ему справим, – говорила мама и вздыхала, вспоминая, как нас обокрали.

– Комнату разгородим, – говорила бабушка.

«Комнату разгородим!» Эти слова меня неприятно кололи, и я чувствовал вину.

Я вспоминал, как раз в неделю, по воскресеньям, приезжала из деревни Васькина мать, тетя Нюра, и привозила молоко.

Тетя Нюра кружила бутылку, чтобы молоко скорее вытекло, я глотал слюнки, глядя, как в опустошающейся бутылки медленно ползут по стенкам густые остатки молока, и корил себя за слабование. Ведь это молоко было платой за Васькино у нас житье, значит, и за Васькину дружбу. Тетя Нюра уходила, я набрасывался на молоко, заедая его черным хлебом и урча от удовольствия, и мысль о том, что это молоко – плата за Ваську, сама собой исчезала, будто растворялась в выпитом молоке.

Однажды я вернулся из школы поздно вечером – нас посылали в овощехранилище перебирать картошку и свеклу. В хранилище было не холодно, но руки у меня совсем окоченели и покрылись тонким, но прочным слоем земли.

Я ввалился домой, бросил в изнеможении сумку с учебниками и прислонился к косяку.

Мама и бабушка смотрели на меня с жалостью – они всегда жалели меня, если наш класс ходил копать картошку, перебирать овощи или еще на какую-нибудь работу, словно я один уставал, – но в их глазах на этот раз было еще что-то, кроме жалости. Какое-то лукавство, что ли.

– Мой руки, – сказала мама, поднимая мой портфель, – там, на столе, тебе кое-что есть.

Я подумал, они оставили мне чего-нибудь вкусенького, но есть не хотелось, в горле пересохло, я еще не мог отойти от долгой работы внаклонку и вяло кивнул головой, откручивая кран.

Вода стекала с моих локтей грязными ручьями, хотелось спать, и я представлял, как рухну сейчас на свой скрипящий диван.

Лениво утершись, я подошел к столу и увидел яркую картинку: на еловой лапе вперемежку с цветными шарами раскачивались гномики. Я перевернул картинку и узнал знакомый почерк: открытка была от отца.

Я засмеялся, усталость исчезла, я подпрыгнул, как маленький. Ничего особенного отец не писал, он просто поздравлял нас с наступающим Новым годом и обещал, что уж в новом-то году он непременно приедет домой.

– Ну видите! – крикнул я, оборачиваясь к маме и бабушке. – Я же говорил! Все в порядке! – И заорал: – Васька! Иди к нам!

Мама с бабушкой стали собираться в магазин, ушли, а Васьки все не было.

Я крикнул ему:

– Ну чего ты, иди!

Васька пришел какой-то понурый, тихий, грустный. Но я не заметил этого. Я вертел в руках лакированную открытку с гномиками и вслух читал отцовское письмо.

Васька кивал, криво улыбался, потом взял у меня открытку, посмотрел на гномиков и сказал неожиданно зло:

– У, фашисты!

– Кто? – не понял я.

– Вот эти, карлики.

– Ну сказанул! – возмутился я.

Гномики в разноцветных колпачках мне очень нравились. Да что там, они были просто замечательные, ведь их же прислал мне отец.

– Ясное дело, фашисты, – сказал Васька, всматриваясь в меня. – Да такие картиночки фашисты друг другу посылали!

Я ничего не понимал. Никогда я не видел Ваську таким злым и ожесточенным. Он был всегда добродушным, приветливым, а тут вдруг обозлился на какую-то открытку, на каких-то гномиков.

– Вась! – окликнул я его. – Ты чего?

– Да ничего, – поморщился он, – просто я все фашистское ненавижу. – Он помолчал и прибавил: – Они у меня отца убили.

Я сидел на диване и чувствовал, как краснею, как заливаюсь жаром. Мне было противно, гадко.

Вот уже сколько дружу я с Васькой, сколько исходили мы кварталов по нашему городу, а я ни разу – вот стыд-то! – ни разу не спросил Ваську про его отца.

– Васька, – сказал я, потрясенный его словами, – Васька, а где?

– Под Москвой, – ответил он и тяжело вздохнул.

Отец у Васьки погиб под Москвой – он воевал в лыжных войсках. Васька и тетя Нюра узнали об этом уже под конец войны, потому что вся та лыжная часть погибла, уцелело лишь несколько человек и среди них один дядька из райцентра. Уходил воевать этот дядька вместе с Васькиным отцом, уцелел под Москвой, но чуть не погиб под Берлином и вернулся в сорок пятом полным инвалидом.

Мы с Васькой сидели одни в натопленной тихой комнате, такой тихой, что было слышно, как за стенкой у тети Симы тикают ходики, и Васька рассказывал мне, как они с матерью узнали, что в райцентр вернулся тот инвалид, и сразу собрались, не взяли даже хлеба с собой, и пятнадцать верст до этого райцентра все время почти бежали. Инвалид работал сапожником в

артели «Верный путь». Васька и тетя Нюра вошли в маленькую каморку, где он стучал молотком, и тетя Нюра заплакала.

– Она не об отце заплакала, – сказал мне Васька, – а об этом инвалиде. У него жена, пока он воевал, померла.

Инвалид сидел на табурете, привязанный к нему широким брезентовым ремнем, чтобы не упасть. Ног у него не было. Только подшитые выше колен стеганые зеленые штаны.

Обратно они шли молча, по разным сторонам проселка, не замечая голода, хотя маковой росинки с утра во рту у них не было. Инвалид сказал, что всех лыжников перемяли танки. У Васькиного отца, как и у других, была только винтовка со штыком и ни одной противотанковой гранаты. Гранаты им еще не успели выдать – прямо с поезда бросили в атаку. И танков никто не ожидал. Они появились откуда-то со стороны.

– Кончу курсы, – сказал Васька глухо, – денег подзаколючу и поеду в Москву отца искать.

– Как же ты его найдешь? – удивился я.

– Найду! – уверенно ответил Васька. – Инвалид говорил, на сто первом километре все было.

Мне снова стало стыдно перед Васькой. Я был счастливее его. Вот и отец у меня живой, всю войну прошел, ранило его, а живой. А у Васьки отца нет. И больше никогда не будет.

Васька встал, прошелся по комнате в залатанных валенках с загнутыми голенищами, подросший и худой – пиджак болтался на нем, словно на палке. Он чиркнул спичкой и закурил.

Я вспомнил, как увидел его в первый раз: курящим и с галстуком. И, глядя на Ваську новым, повзрослевшим взглядом, я подумал, что удивлялся тогда, летом, потому что не знал Ваську.

А теперь вот знаю. И считаю, что курить он имеет полное право.

Я потихоньку спрятал отцовскую открытку с гномиками под скатерть.

* * *

С того вечера мы с Васькой часто про отцов говорили. Он про своего, я про своего.

Я показал Ваське значок ГТО на цепочке, рассказал, как отец его мне, совсем маленькому, уходя на войну, подарил. Как потом он в госпитале лежал, как учил меня с высокой горы на лыжах кататься. Как я кисеты шил, а потом своему же отцу подарил.

Васька фронту тоже помогал. Он пуховых кроликов, пока в школе учился, разводил, сам пух из них дергал, а бабка его, отцова мать, вязала из этого пуха подшлемники и варежки с двумя пальцами – для снайперов. Чтобы им не холодно было в снегу лежать и удобно фашистов выцеливать.

– Знаешь, – сказал Васька, – кем бы я стал, если бы на войну меня взяли? Снайпером. Танкисты там или артиллеристы, конечно, тоже этих гадов здорово крошат, но снайпер прямо в лоб фашисту целится. Прямо в лицо!

Васька сжимал кулаки, бледнел, и мне казалось, что вот будь сейчас перед нами немец, Васька бы его руками от лютой ненависти задушил. Не побоялся бы на здоровенного фрица броситься.

Однажды я вытащил альбом с карточками, и мы уселись разглядывать их. Отец был на многих фотографиях – в санатории, под пальмой; в шляпе и с галстуком, облокотясь на какую-то вазу; с мамой и бабушкой и снова один. Васька внимательно вглядывался в моего отца, улыбался вместе со мной, смеялся над фотографией, где отец снят со мной – я сижу у него на плече, совсем маленький, сморщился, вот-вот зареву от страха, что отец посадил меня так высоко.

Мы досмотрели карточки, Васька задумался.

– Твой-то поездил, видать, много, – сказал он. – По санаториям, по чужим местам, а мой дальше города не бывал.

Васька достал папиросы, закурил, глубоко затянувшись, потом встрепенулся.

– Отец, когда из города приезжал, гостинцы мне привозил. Пряники в серебряной бумажке. И знаешь, что он мне нахваливал, как из города вернется? Театр! Красота, говорил, замечательная.

– А ты театра не видел? – спросил я, посмеиваясь.

– Не-а! – ответил Васька. – В жисть не бывал.

– Так давай сходим!

– Аха! – засмеялся Васька. – В получку.

Получкой он называл деньги, которые ему платили на счетоводных курсах в конце каждого месяца. Эту подробность я помню особенно хорошо, потому что именно из-за этого все так и получилось.

* * *

Дело было под самый Новый год. Вернувшись с курсов, Васька прогромыхал мне через стенку, что он взял два билета в театр – на себя и на меня. Представление шло днем, показывали пьесу «Финист – Ясный сокол», сказку.

Ваську театр поразил. Не артисты в нарядных сказочных костюмах, не Финист – Ясный сокол, кудрявый, в серебряных, блестящих от света фонарей доспехах, не декорации, а сам театр. Я видел, как во время спектакля Васька таращился по сторонам, оглядывая бесконечные ряды кресел, глазел вверх на огромную люстру, мерцающую в полумраке бронзовыми обручами и хрустальными висюльками. Но больше всего понравился Ваське занавес – огромный малиновый занавес из бархата. Когда наступил перерыв и все хлопали, вызывая артистов, и занавес тихо, но мощно расступался, собираясь в плотные, густые складки, Васька не хлопал и не смотрел на артистов, а глядел вверх, пытаясь понять, как это оттягивается такой огромный и, видно, тяжелый кусок материи.

– Здорово! – сказал он с восхищением. – Целое поле, почитай, мануфактуры! – И вдруг спросил меня: – Дорогая ведь, поди?

В фойе кругами колобродила очередь. Мы подошли поближе. Оказалось, продают мороженое. Распаренные, вспотевшие счастливчики выбирались из толпы у синей будочки, где шевелилась тетка в накрахмаленном чепчике, и, хмурясь от счастья, лизали тонкие кругляшки, окаймленные клетчатыми вафлями.

– Что это? – спросил Васька.

Я только хмыкнул.

И вдруг Васькина робость исчезла. Он двинулся вперед, шевеля локтями, и скоро я увидел его вихры у самой будки. Там зашумели, очередь подналегла, и немного погодя из толкучки выбрался взлохмаченный счетовод с двумя кругляшками мороженого.

– На! – сказал он хрипло и откусил свою порцию, как кусают хлеб.

– Во дает! – засмеялся я. – Лизать надо! А то так тебе ненадолго хватит!

– Ништяк! – восторженно пробасил Васька, куснул еще раз, еще и засунул в рот остатки мороженого, хрустя вафлями. Облизавшись, он помолчал, задумчиво глядя на мое мороженое – как я тщательно обвожу его языком, хмыкнул и сказал: – А ничо! Скусно!

Мы погуляли по мраморным лестницам и коврам, сходили в туалет, где Васька покурил, а я долизал мороженое, и пошли вслед за всеми в зал: зазвонил звонок.

Огни стали медленно гаснуть, и билетерши запахивали с железным грохотом занавески, прикрывающие выход, как вдруг Васька схватил меня за руку и потащил обратно.

– А ну ее, эту сказку! – сказал он, когда мы снова оказались в фойе. – Ты чо, маленький, что ли?

Я было надулся – после третьего звонка в зал не пускали, но Васька мотнул головой в угол:

– Вон я чо придумал!

Возле будки мороженщицы никого теперь не было, все ушли смотреть представление, и тетка в накрахмаленном чепчике, мусявя пальцы, считала горку разноцветных денег. Мое огорчение тотчас исчезло, Финист – Ясный сокол с его мечом утратил все свои доблести, и мы с Васькой бегом побежали через паркетный блистающий зал к синей будке.

Я все лизал мороженое, по старой своей привычке, и никак не поспевал за Васькой, а он подзуживал меня, чтобы я брал пример с него и жевал, а не валандался.

После каждой порции Васька ухарски вытаскивал из кармана деньги, клал их продавщице, хрупал вафлями, опять ждал меня – и я сдался. И тоже начал кусать, а не лизать.

Дело шло быстро, мы молчали, только причмокивали, и я чувствовал, как леденело у меня горло. Остановились мы как будто на десятой порции и то не потому, что объелись, а потому, что у Васьки кончились деньги.

– Всю зарплату? – спросил я деревянным голосом, ужасаясь Васькиной удали.

– Еще на одну осталось! – прохрипел он, разглаживая мятые бумажки, и добавил великодушно: – Хошь?

– Не! – ответил я совершенно искренне.

Но Васька уже протягивал рубли мороженщице. Она поглядывала на нас удивленно, но ничего не говорила.

Потом мы пошли в туалет, Васька снова покурил, предлагая мне папироску.

– Ты зыбни, зыбни! – уговаривал меня Васька. – Сразу отойдешь!

Но я так и не зыбнул. И наверное, зря.

* * *

Назавтра был последний перед каникулами день, а я не мог шевельнуться. Голова горела, как головешка, муторно и жарко, горло распухло, и я дышал с хрипом, тяжело потея. Мама заохала, вызвала врача и не пустила меня в школу. К обеду пришел доктор, потрогал мой лоб и даже не стал градусник ставить.

– Где это ты так? – спрашивала меня бабушка. – Сознавайся, опять снегу поел?

Ей почему-то всегда казалось, что я зимой ем снег, а весной лижу сосульки. А между прочим, никогда я снег не ел. Ну, может, раза два попробовал, так и то давно. Снег мне не понравился – он был какой-то сухой и бессольный, и я его больше в рот не брал, а вот бабушке всегда мерещилось, будто я снегоед какой-то.

«Дурак ты, дурак! – ругал я себя. – Надо было не слушать Ваську. Что он в мороженом понимает – первый раз увидел. Жадность одолела. Боялся, что Васька переест, дурачина ты, простофиля». Но бабушке в ответ мотал головой.

– Кхакхой снех, – хрипел я. – И так хонодхно!

Обедать я не стал, не было аппетита, и бабушка прямо извелась, уговаривая меня, протягивая ложку с супом. Да и о какой еде могла идти речь!

Солнце уходило за крыши, сугробы синели. Новый год подступал тихими шагами, а я хрипел и кашлял и не мог пойти на базар за елкой.

Так мы вчера уговорились с Васькой. Я прихожу из школы и бегу за елкой, а он, вернувшись с занятий позже, помогает мне ее украсить. Васька все не возвращался, а бабушка, когда я сказал ей про елку, даже возмутилась:

– Не брошу же я тебя!

Васька пришел уже под вечер. Он остановился у порога, разглядывая меня, а я только виновато развел руками – мол, видишь?

Васька шагнул в комнату, улыбнулся и сказал:

– Ништяк, и так проживем.

А я чуть не заплакал. Я-то надеялся на него. Я-то думал, может, Васька чего-нибудь придумает. Он увидел, как я скис, тряхнул головой и сказал:

– Ну дак ладно. Не бойсь. Я на базар сбегаю, – и исчез, оставив от валенок мокрые следы.

Как-то сразу стало полегче. И горло, кажется, отпустило. И будто бы даже жар спал. Я проглотил несколько ложек супа. Бабушка улыбнулась. Я улыбнулся тоже: Васька не мог подвести, такой уж он человек.

Но Васька пришел без елки.

– Пусто на рынке, – сказал он виновато.

«Ну все! Попраздновали называется». Я отвернулся к стене, закусив дрожащие губы.

– Сами виноваты, – укорила мама, – не могли вчера позаботиться или еще раньше?

– Вчера в театр ходили, – ответил я сдавленным голосом, готовый зареветь.

– Ну, ну! – сказала мама. – Постыдись Васи.

Но никого я стыдиться не собирался и начал уже хлюпать носом, как Васька вдруг сказал:

– Тетя Лиза, дайте топор.

– Зачем это? – всполошилась бабушка, заведовавшая всем нашим хозяйством.

– В лес пойду.

Я приподнял голову. В лес! Во дает Васька! Друг так друг, ничего не скажешь!

– Ни в коем случае! – заговорила, волнуясь, мама. – Сейчас стемнеет, а до лесу километров пять, заблудишься. Нет, нет!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.